

Дмитрий Сергеевич Мережковский

**Было и будет. Дневник
1910 - 1914**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-94
ББК 63.3-8
М52

М52 **Мережковский Д.**
Было и будет. Дневник 1910 - 1914 / Дмитрий Сергеевич Мережковский – М.:
Книга по Требованию, 2012. – 154 с.

ISBN 978-5-4241-1550-9

Д.С.Мережковский – выдающийся русский и европейский писатель Серебряного века, поэт, романист, драматург, критик, религиозный философ.

ISBN 978-5-4241-1550-9

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2012

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2012

Дмитрий Сергеевич
Мережковский
БЫЛО И БУДЕТ. ДНЕВНИК
1910–1914

НА ПУТИ В ЭММАУС

Сегодня люди говорят: Христос воскрес. Но что при этом думают и чувствуют? Может быть, похожее на то, что чувствовали ученики Господни, когда шли в Эммаус, разговаривая с неузнанным Спутником о распятом, погребенном и не воскресшем Господе:

— А мы надеялись было.

Сегодня Христос воскрес, а завтра сытый отнимет хлеб у голодного так же, как отнимал вчера. Сегодня Христос воскрес, а завтра выйдут проститутки на улицу так же, как выходили вчера... <...>

Христос воскрес, но все осталось по-прежнему. Мир как лежал во зле, так и лежит. «А мы надеялись было».

«Если Христос не воскрес, то тщетна вера ваша». Не тщетна ли, если даже воскрес?

Почему мы перестали верить? Потому ли, что доказана невозможность физическая того, во что мы верили? Но физическая невозможность относится не к вере, а к знанию, к порядку явлений, порядку здешнему; вера же — прорыв, прозрение (интуиция) в иной порядок, «касание мирам иным». Нельзя доказать, что невозможное здесь невозможно и там. Нет, не потому мы не верим, что доказана невозможность физическая, а потому, что открылась — или кажется нам, что открылась — ненужность метафизическая того, во что мы верили. Не как можно, а зачем нужно верить — вопрос для веры убийственный. И в самом деле, зачем нужно верить в воскресение Христа?

Воскресение — победа жизни над смертью. Но в смысле родовом, безличном, такая победа всегда и везде на наших глазах совершается. Вся органическая жизнь есть не что иное, как вечная победа жизни над смертью, умирание и воскресание. Каждая умирающая клетка нашего тела воскресает в новой клетке рождающейся; каждое растение — в семени; каждое животное — в зародыше. Смерть особей, бессмертие рода — таков закон естественный. Для природы нет смерти, потому что нет личности; только в человеке вместе с сознанием личности возникает и сознание смерти. Вопрос о смерти — вопрос о личности.

Что такое личность? Если только явление — вопрос решен: смерть, конец явления — конец личности. Вскочил пузырь на воде и лопнул; раздался звук и замер; вспыхнул огонь и потух. Было — как бы не было. Ничего не уничтожила смерть, только обнаружила действительное ничтожество того, что казалось, являлось чем-то. Нет воскресения, потому что и воскресать нечему.

Но если личность — больше чем явление, если касается она мирам иным, хотя бы одною точкою, то смертью не решается, а только ставится вопрос о личности.

Христианство есть откровение Христа, Абсолютной Личности. Вот почему оно и ставит вопрос о смерти как вопрос о личности; вот почему основной догмат христианства — победа над смертью Абсолютной Личности, воскресение Христа.

Противоположный христианству древнебуддийский и современно-европейский ответ дает Шопенгауэр, кажется, с наибольшей ясностью не только философского, но и религиозного (или антирелигиозного) сознания.

Principium individuationis — начало различения, разделения на личности — находится только в мире явлений, в пространстве и времени. «То, что за явлениями, сущность мира — воля — едина и свободна от всякого множества; она вне пространства и времени, вне principii individuationis. Индивидуум, лицо — уже не воля сама в себе, а проявление воли и, как таковое, уже определено и вошло в форму явления» («Мир как воля и представление», II, 23). «Индивидуум — только явление; он исходит из ничего и возвращается в ничто». Уничтожением индивидуумов «сама природа совершенно наивно высказывает великую истину, что только идеи (роды), а не индивидуумы (личности) имеют действительную реальность, т. е. суть полная объективация воли» (IV, 54). Единая воля дробится на множество личностей в principio individuationis, пространстве и времени, как единый луч на множество искр в гранях стекла.

Haec omnes creaturae in totum ego sum, et praeter me aliud ens non est (все эти твари суть Я, и, кроме Меня, нет ничего сущего), говорят Упанишады Вед. Это значит: все — во мне; я — ничто; все — ничто.

Мир явлений — «обманчивое покрывало Майи, спускающееся на глаза смертных». А разделение на личности — principium individuationis — ткацкий стан, на котором ткется это покрывало.

Христос — высочайшая, но не Абсолютная Личность. Исшел из ничего и вернулся в ничто. Умер и не воскрес.

Так, вынув Христа из христианства, Шопенгауэр¹ сливает его с буддизмом; смысл обеих религий для него тождествен: «отрицание воли к жизни». Это же последний смысл и всего мирового процесса: темная воля к жизни, просвещенная познанием, стремится к самоуничтожению, избавлению от муки жизни. «Нет воли — нет представления, нет мира... Остается одно ничто. Мы прямо исповедуем: что остается за совершенной отменой воли для всех тех, которые еще исполнены воли, есть, конечно, ничто; но и наоборот, для тех, у кого воля обратилась вспять и отрицает себя, весь этот наш столь реальный мир со всеми его солнцами и млечными путями — ничто» — этими страшными словами заключает Шопенгауэр свою страшную книгу.

Так вот для чего ему нужно было отрицание Абсолютной Личности, Христа воскресшего, — для утверждения воли к небытию.

К тому же, к чему пришла современная метафизика, приходит и современная эмпирика. Проф. Мечников² в своем учении о биологическом цикле решает вопрос о смерти хотя в иной плоскости, но почти в том же смысле, как Шопенгауэр.

Смерть страшна и болезненна, потому что в теперешнем состоянии человеческого организма люди умирают преждевременно; когда же они будут доживать до глубочайшей старости, завершая «биологический цикл», естественный круг животной жизни, то смерть перестанет быть страшною. Как при наступлении ночи является желание сна, так при наступлении старости — желание смерти: старому, как усталому, «умереть — уснуть». Все религии, учения о бессмертии личности основаны на страхе смерти; с его исчезновением исчезнут и все религии.

При таком решении вопроса о смерти не приходит в голову мысль о том, что страх смерти, животный, безличный, бессознательный, и страх человеческий, личный, сознательный — не одно и то же; что страх смерти не обостряется, а

притупляется болью, как пьяною горечью оцета. Чем меньше боль, тем больше страх, тем яснее сознание, неотразимее вопрос: что же будет с тем, что было личностью? Живой пес лучше ли мертвого льва? Тут для природы, для биологии нет вопроса, но для психологии, для человека — есть. И отказаться от этого вопроса нельзя, не перестав быть человеком. Безболезненная смерть, конец «биологического цикла», может быть, и «мирная», но не «непостыдная кончина живота». Чем безболезненнее, тем постыднее.

Вот мертвая Корделия в объятиях Лиры. Какое ему дело до «биологического цикла», до безболезненной смерти будущих людей? Она сейчас мертва, и сейчас не ей, а ему больно. Собака жива, кошка жива, последняя тварь жива, а она мертва. Он любил ее живую, любит и мертвую. Но мертвая — ничто. Как же любить ничто? Смысл жизни — любовь, и этот смысл — бессмыслица?

Воля жизни совершает «биологический цикл»; когда же цикл закончен, дело жизни сделано — обманчивое покрывало Майи падает и открывается истинный смысл или бессмыслица жизни — воля к смерти, воля к небытию.

Как ни различны Шопенгауэр и Мечников, в этом они согласны. Но что для одного — трагедия, то для другого — идиллия; один — пессимист, другой — оптимист; одному тяжело и страшно, другому легко и весело. Может быть, впрочем, эта веселость страшнее самого страшного?

Шопенгауэр и Мечников высказали то, что носится в воздухе современной европейской культуры, как на пустынных вершинах метафизики, так и в многочисленных долинах эмпирики: современный христианский Запад сходится с древним буддийским Востоком в отрицании воли к жизни, в утверждении воли к небытию.

Провал воли к жизни — провал личности. Не стало личности — не стало смерти. Безличность — бессмертность.

Вот почему воскресение для нас — самая ненужная из ненужностей, самая нелепая из нелепостей. Умирать нечему — воскресать нечему.

Да, смерть исчезла. Мы живем, думаем, чувствуем, действуем так, как будто нет смерти. Наша первая заповедь — забвение смерти. Напоминать о смерти неприлично в высшей степени. Когда в Париже совершаются гражданские похороны, то к дому покойника подъезжает изящная карета с продолговатым задом — черным, длинным и узким лакированным ящиком. В ящик опускают покойника, и он скользит в него так тихо и быстро, так незаметно, прилично, что сразу не поймешь, в чем дело. Египетские пирамиды и этот лакированный ящик — воплощенные мысли о смерти.

Смерти не знают боги и звери. Какое же наше незнание — божеское или зверское?

Против воли к небытию возразить нечего, можно только спросить: зачем же терпеть существование, по словам Шопенгауэра, «частью ничтожное, а частью ужасное»? Не лучше ли покончить сразу, как учат индийские поклонники богини Кали,³ спасающие мир от воли к жизни убийством и самоубийством?

А может быть, к этому мы и идем? Дух убийства уже над Европою носится. Вооруженные народы готовы, как пьяные ножовщики или хищные звери, друг на друга кинуться, чтобы начать такую бойню, какой еще мир не видал.

Дух убийства над Европой носится, а над Россией — дух самоубийства. Пуля, петля и яд сделались у нас «явлением бытовым», общественным, едва ли не

главную часть нашей конституции. По слову Тертуллиана⁴ о мучениках, мы летим на смерть, как пчелы на мед. Если так дело дальше пойдет, то скоро утонет вполне наша воля к небытию.

Кто лучше — убийцы или самоубийцы? Во всяком случае ни для тех, ни для других не нужно воскресение.

Так почему же в эту Светлую ночь, когда поют: «Христос воскрес», горит наше сердце, как будто все еще с нами неузнанный Спутник, как тогда, на пути в Эммаус. Не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге:

— Отчего вы так печальны?

— Разве Ты не знаешь?

— О чем?

— Что было с Иисусом Назарянином; как предали и распяли Его. А мы надеялись было...

— О, бессмысленные и медлительные сердцем, чтобы верить!..

Веровать не можем, так будем знать: если Христос не воскрес, не совершилась над смертью победа Абсолютной Личности, то последний смысл жизни — бессмыслица, воля к небытию, и дух убийства, самоубийства — неотразим.

Хотим ли мы этого? Прежде чем решить, подумаем и взглянемся в лицо неузнанного Спутника. Не узнаем ли Его? Не скажем ли:

— Христос воскрес, воистину воскрес.

СМЕРТЬ ТОЛСТОГО

Смерть его — не конец, а свершение, исполнение жизни. Чаша наполнялась, наполнилась и перелилась через край земного бытия в вечность.

Плачем, но не знаем, от скорби или от радости. Скорбь каждого из нас — скорбь всего человечества, скорбь всей земли. Ибо Дух Земли воплотился в нем, и когда он ушел, земля опустела. Отныне шар земной несется пустынное в пустынях мира.

Кто он? Художник, учитель, пророк? Нет, больше. Лицо его — лицо человечества. Если бы обитатели иных миров спросили наш мир: «Кто ты?», человечество могло бы ответить, указав на Толстого.

В эту минуту мы испытываем то, чего никогда никто из людей не испытывал. Сколько умирало великих сынов человеческих. Но никогда еще взоры всего человечества не устремлялись так на одного человека; никогда человечество не чувствовало так, что умер сын его возлюбленный, сын человеческий.

Тот, умерший на Голгофе, Единородный Сын Божий, хотел, чтобы все мы стали сынами Божиими: Я говорю: вы боги, и сыны Всевышнего все вы.

Мы теперь знаем, что Толстой — один из них. Мы также знаем, что все его величие перед величием Единого Сына Человеческого — ничтожно. Веруем, что малейший в Царстве Божьем наречется, может быть, большим, чем он. Но пусть не говорят нам, что сам он этого не знал, не хотел знать, не верил во Христа Бога, умер отверженным, отлученным, нераскаянным. Не словами, а всей своей жизнью и смертью он Христа исповедал. Разве можно так любить человека, как он Его любил; разве можно так идти за человеком, как он шел за Ним; разве можно так умереть за человека, как он умер за Него?

Что бы нам ни говорили, мы знаем, что Сын Божий не отвергнет сына человеческого — Себя Самого в человечестве; а что в эту минуту все человечество в нем — понимают и те, кто думает, что он Христом отвержен.

Вы, считающее себя единственными учениками, наместниками Христовыми, получившими от Него власть разрушать и связывать, — опомнитесь, подумайте, что вы делаете.

Разве мы не знаем, что усопший великий брат наш — такой же грешный человек перед Богом, как все мы, и, может быть, не меньше, чем последний из нас, нуждается в молитвах наших и милосердии Божьем. И пусть грех его в том, что не сумел или не успел он исповедать Христа Богочеловека, не успел, хоть мертвеей рукой, дать знак, по которому бы люди поняли, что возлюбленный сын человеческий верует в Сына Божьего. Пусть это больно, страшно. Может быть, нам еще больнее, страшнее, чем вам. Но поймите же, что отлучить его от Христа — значит отлучить все человечество; проклясть его — значить проклясть весь мир.

Если можете, молитесь вместе с нами и верьте, что Господь не отвергнет нашей молитвы.

А если не можете, то по крайней мере не лгите. Проклиная, проклиная до конца. Хоть в эту страшную минуту, над раскрывшейся могилой, не лгите, не уверяйте нас, что он умер покаившись, как вам того хотелось бы, — прокляв себя, отрекшись от всей правды своей, той не сказанной, не исповеданной,

неисповедимой любви ко Христу Богу, с которой он жил и умер. Что бы вы ни говорили — все равно никто не поверит вам.

А если не можете молиться с нами, то отойдите, не мешайте нам. Мы одни за него помолимся. Но знайте, что в эту минуту все человечество преклоняет колена над прахом возлюбленного сына своего и молится едиными устами, единым сердцем, единым воплем. И если церковь безмолвствует, то вопиет все христианское человечество. И дойдет до Бога, дойдет этот вопль.

ЗЕЛЕНАЯ ПАЛОЧКА

Он завещал похоронить себя на яснополянском кургане, где играл в детстве. Там основал он с братьями «орден для спасения мира»; в кургане зарыл какую-то зеленую палочку, веря, что, когда ее откроют, «наступит на земле царство Божие».

Если это — легенда, то глубочайшая сущность его выражается в ней: детство, как царство Божие. «Если не обратитесь и не станете как дети, не можете войти в царство небесное».

Он исполнил этот завет: стал как дитя, чтобы войти в царство Божие. Этим начал и этим кончил жизнь.

Гёте сказал: «Счастлив, кто сумел соединить конец своей жизни с началом». Толстовское опрощение, которого мы до сих пор не понимали, хотя он столько говорил о нем, но все как-то не умел сказать, — есть конец жизни, соединенный с началом, возвращение к детству, вхождение в царство небесное. Мы это поняли, когда он не только сказал, но и сделал. Поняли, почему всегда ненавидел он сложное, взрослое, искусное, мудреное, только человеческое и любил простое, детское, мудрое, Божье.

Золотой век, детство мира — в прошлом? Нет, в будущем, утверждает Благая Весть. Когда снова станем детьми, поверим в чудо, то отроем зеленую палочку и наступит на земле царство Божие.

За что мы все так вдруг полюбили его или, вернее, узнали, что любим? За то, что он — дитя Божье. Мы все хотим быть детьми, тоскуем о детстве, как будто о прошлом, а на самом деле о будущем, золотом веке. И как же нам не любить того, кто показал, что есть еще детство в мире, а, значит, и царство Божие на земле будет!

Да, всю жизнь был дитя. Потому-то и был так счастлив. Чем дети счастливее взрослых? Мы трудимся; дети играют. Мы спорим о Боге; дети молятся. Мы знаем; дети любят.

Он всю жизнь, как дитя, играл, молился и любил. Сначала играл в божественную игру искусства; потом оставил игру, чтобы молиться; наконец оставил молитву, оставил все, чтобы любить. И умер за любовь. «На свете миллионы страдающих людей. Зачем же вы все — около меня одного?»

Помануть его нельзя никакими словами. Чтобы помануть это Божье дитя, надо самим стать как дети. Мы себя не обманываем: знаем, как трудно это, почти невозможно для нас; знаем, какие все мы взрослые, сложные, скорбные, грешные... А все же попробуем. Если нам и не удастся, то самое усилие зачтется.

Все люди похожи на детей, которые не умеют ходить; когда падают, то чьи-то руки протягиваются к ним и поддерживают. Если и мы не сумеем, то, может быть, почувствуем эти помогающие руки.

Ведь как бы мы ни были взрослые, стары, дряхлы — все-таки каждый, хоть раз в жизни, любил, молился, играл в божественную игру искусства. И в игре, в молитве, в любви чувствовал свое детское сердце, не только прошлое, но и будущее. У каждого из нас была, а может быть, и есть еще своя зарытая зеленая палочка, своя детская вера в чудо. Не будем же стыдиться этой веры.

Веращее, детское разлито сейчас в самом воздухе России. Вот откуда придет

к нам помощь, если мы попробуем высказать то, что все безмолвно чувствуем.

Что такое происходит? «Гражданские похороны» великого человека? О, насколько больше! Вот, может быть, единственные похороны, о которых Живой Вовеки не сказал бы: оставьте мертвым погребать своих мертвецов. Тут не мертвые хоронят мертвого, а живые живого несут в вечную жизнь — на тот веселый, весенний, детский яснополянский холм, где зарыта зеленая палочка.

Когда ночные темные толпы, блуждающие, как овцы без пастыря, несли этот гроб и, не умея молиться, только плакали, это было начало какой-то новой молитвы. У людей еще нет имени Божьего, но они уже тоскуют, вздыхают о нем, и это вздыхание, почти безмолвное, может быть, сильнейшая из всех молитв.

Это — великое знамение. Страшно то, что церковь ушла от мира, а мир ушел от Христа. Но мы теперь видим, что Христос от мира не ушел. Ведь мы все, весь мир — с Толстым, а что он — со Христом, мы знаем; если же он, то через него и мы все, весь мир — со Христом. Вот почему такая радость в нашей скорби; в смерти его — наше воскресение. Сейчас этого почти никто не знает; но придет время — узнают.

И когда наши дети — недаром пока только дети (толстовское — детское) — ходят по улицам наших городов и повторяют последний вопль умершего за любовь: «Не могу молчать! Да не будет смертной казни!» это тоже начало какой-то новой молитвы. «Кошунство; старая, безбожная политика», — говорят взрослые. Но те, кто так говорят, сами кошунствуют. Надо иметь слепое сердце, чтобы не видеть, что тут есть что-то, кроме старой, безбожной политики. Ведь в нем самом, в Толстом, было мятежно-любящее, бунтующее и — да простят мне это не толстовское, не детское слово — революционное, революционное и религиозное вместе, во имя Божье освобождающее. <...>